



Абдусциус

Абдусциус родился на заброшенной детской площадке.

Он выглядел так несуразно, этот странный, задвинутый на задворки спального района участочек расчищенной земли. Все девятиэтажки находились как бы в стороне от него. Эта площадка вполне могла быть размещена точнехонько между ними, в самом центре скобы, как какое-нибудь капище среди мегалитов, но почему-то оказалась в стороне. Никто не мог сказать, почему. Может, это и не особо-то важно. Подобные строительные аномалии – не редкость.

Площадка утыкана деревянными скульптурами божков. Вообще-то, когда-то это были персонажи сказок. Лихой казак. Солдат со штыком и медведь, служащий ему. Баба Яга и Иванушка-Дурачок, а может, Емеля, кто теперь разберет. Но эти резные деревянные фигуры до того неухоженные, так сильно потрепаны гуляющими здесь негостеприимными ветрами, что в них не осталось ничего сказочного – только мифическое. Это *божки*, злые, одичалые и никем не любимые. Кстати, возможно, именно ветры поспособствовали тому, что площадка стала заброшенной - где-то здесь раскрывает свой колючий бутон их роза.

И здесь родился Абдусциус – но только после того, как малолетняя убийца явилась на площадку, чтобы спрятать в центре груды мусора, наваленной посреди площадки, голову отца, с таким упорством отделенную от тела при помощи лобзика и брошенную в простой потребительский полиэтиленовый пакет.

Отец был никудашным человеком. Конечно, не таким плохим, как мать – мать просто ушла, но забрала только маленького братика, – но и до звания «хорошего» ему было очень уж далеко. Отец, конечно, не пил, зато прочно сидел на «опии-сырце», которым делился с ним какой-то старый друг-сослуживец, ветеран Афгана (и ему всегда нужно было голосом выделять это отвратительное слово – *сырец*). Отец, конечно, не бил и не насиловал убийцу, но он частенько утомлял ее, мешал заниматься любимыми делами. С ним совсем не о чем было поговорить, и он вел себя неадекватно, он часто пускал газы и воняло от него при этом скверно. Он много на нее орал – и вот к чему это все привело.

Убийца стоит у груды мусора, в которую спрятала голову отца. Лобзик у нее с собой, в рюкзаке, аккуратно завернут в три полиэтиленовых пакета. Она не знает, как поступить дальше, куда девать себя. Абсурдная мысль: приставить лобзик к руке и отпилить ее: *и если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки её и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не всё тело твоё...* и так далее. Но нет,

если уж она решит, что жизнь не стоит продолжений и сиквелов, она решит вопрос как-нибудь иначе. Бесполое существо в бесцветных обносках, обдуваемое злым ветром кривое и скособоченное пугало, она/оно стоит и думает об одном: *как же вышло так много крови?* Куда больше, чем во всех этих фильмах.

Убийца осторожно косится на дома. Некоторые окна, конечно, горят. Но, может, ее и не увидел никто. Да даже если увидели – какая разница? Пускай это будет просто еще одно обстоятельство, из целого ряда вон... За каждым окошком – человек. Может, стоит кому-то еще познакомиться с зубчатым возмездием? Хотя, конечно, никто не портил ей жизнь так сильно, как отец, чья голова запихнута в грудку мусора под покровом темноты. Но сама возможность так ярка и заманчива. Темнота покрывает все счета. Под ее эгидой так много можно сделать.

Да не. Надо оно ей. Искушение сильное – возможно, даже *очень* сильное, – но стоит одуматься: впереди целая жизнь. Поэтому она спускает рюкзак с плеча, достает лобзик – и пихает его в ту же кучу. Вытряхивая из пакетов, потому что на пакетах отпечатки убийцы есть, а на лобзике – нет. Сделав дело, она спешит прочь, мимо домов, к пустой автобусной остановке: все пакеты при ней, и даже тот, самый первый, куда отправилась голова. Может, стоит оставить их на память. Вообще, неплохо было бы сжечь или закопать, или бросить в какую-нибудь реку. Куда податься – непонятно, но пока можно просто поехать по городу, хоть бы и кругами.

А ветер всё свистит в странном нагромождении, воздвигнутом посреди заброшенной детской площадки. Свистит под взглядами злобных языческих божков. Тут много всего – какие-то палки, алюминиевые жестянки и бутылки, и даже такая штука для выбивания половиков, у которой и внятного названия нет – скажем, «ракетка», но это не совсем точно. Все эти распорки опутаны изнутри странным вьюном, истрепанным и утратившим былую упругость. Не понять даже, что это за растение, и почему несколько пауков, попробовавших сплести на нем паутину, умерли. Какое-то чуждое семечко было привлечено ветром, каким-то чудом оно здесь проросло. Такое случается.

Кровь из обрубка шеи капает на вьюн. Кровь из пустой глазницы капает на вьюн. Глаз забрала не убийца, а война в Афгане – старые раны раскрылись. Поначалу изменения будто бы незаметны, но чем больше крови скапливается в странном переплетении отростков в основании мусорной башни, тем эти отростки живее. К ним возвращается былая упругость, некая жизнь. Ветер уже не сушит их, а помогает разогнать сок по патрубкам. Злой ветер, что дует здесь дни и ночи напролет, приносит откуда-то издалека терпкий запах еще более свежей крови...

Да, здесь, совсем неподалеку от того места, где малолетняя убийца оставила свое подношение, крови тоже предостаточно. Еще живой, текучей. Ужасно проспиртованной, но и такая, пожалуй, сгодится. Всякий выпад молодого кулака в старую, небритую челюсть в какой-то степени увеличивает удельный пролитый объем. Тот, кто принимает удары, уже давно не видит тех, кто их наносит – все вокруг него сплошь серая

круговерть с алыми прожилками, хоровод смешков и тычков, в котором противное искусственное *цвырк-цвырк* издают камеры смартфонов, противно щелкают банки с энергетиками, передаваемые из рук в руки, противно гудит его собственная старая голова, и кажется, вот-вот сверзится с плеч от столь сильных встрясок. Удары находят безвольную цель, несть им числа. Избиваемый бедолага давно уже не кричит – так, кашляет, скорее, «бухтит нутром», как мог бы сказать отец малолетней убийцы, чья отпиленная голова была принесена в жертву заброшенной детской площадке. Ну, в общем-то, не на что здесь смотреть, это просто дети развлекаются. Просто дети, ну, строго говоря, уже подростки, четыре штуки, все – из семей средней благополучности, избивают – кто ногами, кто руками, – местного забулдыгу Палыча, вконец опустившегося, бездомного. Но, кстати, Палыч – вполне себе настоящий ведьмак. Не такой, как в книжках пана Сапковского, конечно – но таких, как у пана, и не водится уже. Палыч даже мог бы рассказать этим детишкам, как стать ведьмаком; в нынешнем своем состоянии – запросто выболтал бы. Нужно просто – так еще его бабка-знахарка рассказывала, – натопить баню в заброшенной деревне ровно в полночь, там ведь в это время черти моются, и труп черной кошки, принесенный с собой, вскипятить прямо в котле на полу. Тогда в бане появится из-под лавки красная собака, станет блевать. Кто ту блевотину слижет – тому быть ведьмаком, чаротворцем. Чем больше слижешь, тем щедрее мощи колдовской вберешь. Палыч, видать, слизал совсем мало, да и ведьмачьи проделки у него выходили пустяковые – например, чтобы охранник в «Пятерочке» не заметил, как он выносит себе поесть и похмелиться, или чтобы в одном из домов дед Пётр, выходящий покурить, забыл убрать кирпич и закрыть домофонную дверь, или чтобы эти волчата, молодняк, сбивающийся в стайки, не заметили, как он крадется к заброшенной детской площадке – поспать на лавке, – вот бы только они не заметили его вообще...

Не всегда у него получалось. Далеко не всегда – вот и сегодня не вышло. Поэтому он, Палыч, и лежит на боку, на земле, вяло трепыхается, принимая удары, бухтит нутром. Та самая заброшенная детская площадка теперь кажется недостижимой – удаленной на пару-тройку световых лет. Волчата с ним, похоже, почти разобрались. Палыч давно забыл, какая на вкус рвота красной собаки, он почти все забыл, и даже сейчас понимает только одно – что-то многовато крови из него вышибли, так и хлещет. Он пробует ползти вперед – ведь плевать, сколько там световых лет, главное – добраться до языческих божков, забраться под сень поваленного грибка и мирно забыться, хоть на час, хоть навсегда, – и ноги ребятишек охотно помогают ему. Удары метят в поясницу, но из-за его позы проходят по касательной – то в зад перепадет, то в ногу.

- Блин, прям между булок попал, – радуется Алешенька, самый младший в стайке. – Прикинь, как у него очко засвербело. Грязное, небось!

- Да хватит с него, – нарочито пристыженно замечает Глеб, на вид – обычный такой тихоня, скромный мальчик с водянистыми глазами, которые выражают что-то вроде

грусти, если смотреть, особо его не зная, а на деле – просто ничего не выражающие. Ему вся эта затея, кажется, приятнее всего, и он сам не знает, зачем пытается кого-то осадить; хотя, нет, знает – если осаждаешь, напор почти всегда усиливается, значит, веселье продолжится.

- А по-моему, мы только разогрелись, – говорит бойцеватый Спартак, стучая кулаком о кулак, разогреваясь. – Правда ведь, Серег?

Серега – один из тех, кому лично знакома малолетняя убийца, самый старший, но точно в этой компании не самый смекалистый, – угрюмо кивает. Он вообще по природе парень не особо-то многословный.

И они, конечно же, продолжают. Продолжают, потому что такая у них суть, больше им нечего (пока что) особо предложить миру. Не в глобальном плане, конечно – Спартак, например, хорошо рисует, а Алешенька отлично успевает по математике, – так, в сугубо сиюминутном. Палыча пинками загоняют на заброшенную детскую площадку, потому что там – даже лучше продолжать. Мрачное, конечно, местечко, ну да зато никто там особо не шастает. Попинают еще немного да разойдутся по домам. А нечего было приставать этому старому стремному черту к Катке и Тамарке. Что он от них там хотел? «Крови со шмоньки полизать»? Старый извращенец, мерзкий! Пил бы себе втихаря, таскал бы по мелочи из «Пятерочек», жил бы как жил – и не отмудохали бы. А такое, конечно, безнаказанно нельзя оставлять. Материал уже готов – Алешка с Глебом все засняли. Пусть знают, кто округу в чистоте держит, падлы. Так с каждым будет.

- Давай, давай, в дышло ему, – подначивает Спартак, отступая, давая товарищам доступ к телу. Отходит на шаг, оскальзывается на чем-то. Земля влажная, чавкает – грязно, видать, еще и разлили что-то. Ну и пускай с ним, земля – не говно. – А подтащи-ка его сюда – видишь, тут жижа какая-то. Давай, давай, рожей его сюда. Во, вот так!

Палыч, потомственный ведьмак, аводник, как хотите – так и называйте, утыкается лицом в столь желанную кровь. В нее он бухтит нутром и бормочет какое-то полузабытое непойми-что на непойми-каком языке, что-то вроде того, что бабка его кричала, когда помирала, да так страшно кричала, что пришлось в сенях, где она лежала, крышу разобрать – только тогда дух и отлетел. Это, конечно, не девственная кровь, и даже не блев красной собаки, а так, просто мертвая водица, натекшая из отпиленной головы. Мертвая, тухлая. От такой проку нет. Но сквозь серый туман боли, тычков и криков, краешком обглоданного нелегкой жизнь сознания Палыч понимает, что что-то его здесь слышит. Вот только совсем не то, чему лучше знать, что его зовут. Типун на язык! Но поздно – шевельнулось, подняло уродливую голову, взглянуло Палычу в самые остатки души неприятным, остекленевшим взглядом. Взглянуло – так Палыч и помер: еще немного побухтел нутром и затих, иссяк, как свечка на ветру.

А ветры здесь, известно, злые.

- Да погодите вы! Погодите! – Сейчас Глеб уже беспокоится почти всерьез – не очень-то ему понравилось, что старый опущ-извращенец как-то вдруг дернулся всем телом, ноги

протянул подальше и так и застыл. – Хуёво ему, че, не видите? Нам на хрен не упало, чтобы он коней двинул! Полегче давай, полегче!

Вьюн, слепо оплетающий конструкцию из палок, запустивший свои ростки в глазницу мертвой головы и находящий себе дорогу к подпорченному, но вполне питательному серому веществу, эти звуки уже почти может слышать – через мертвые, забитые серой уши, – но понять не может. Да и не стремится. Что, по сути, он есть, этот случайно зародившийся паразит? Кровь, мясо, тухлый эфирный дренаж, заполняющий пространство между разным мусором – неорганическим и органическим, наваленным здесь. Роза ветров поет скорбную песнь возмездия, распускаясь еще пышнее, и становится на место то, чему, не сложишься вот так обстоятельства, не сойдишься звезды, надлежало бы оставаться разобщенным. На самом деле, такое иногда случается. Неосознанно и почти без умысла.

Стонет, скрипит мусорная куча, пока вьюн силится вытянуть собственное средоточие из земли, стучаются друг о друга палки-кости. Лобзик кренится, аккуратно соскальзывает в протянутую бесплотную руку, и синяя пластмассовая ручка, еще недавно ходившая в потной ладонке убийцы, выгибается дыбом – будто тоскуя по прикосновениям. Всю, ну или почти всю кровь из земли выпили пустые трубки-стебли, но им этого мало. Надо еще. Куча стонет и скрипит, но эти звуки не слышны толком из-за галдежа столпившихся у тела Палыча парней. Перестарались, бойцы уличного фронта, умер бедняга-ведьмак. Никто уж не сунет ему чеканную монету в грязную ладонь.

- Че он там? Ну че? – взволнованно повторяет Алешенька, пряча смартфон в карман.

- Да тише вы! Услышат – сбегутся! – шикает Спартак на него, хлопая Палыча по щекам, и Глеб его поддерживает:

- Давай, если что – скорую вызовем... скажем, нашли...

- Да какую скорую? – подает возмущенный голос Серега, и как раз в этот момент земля под мусорной кучей выплевывает миниатюрную мусорную ракету, отхаркивает ее в мир. Парни разом поворачиваются – и толком ничего не успевают увидеть.

Все-таки мусорные кучи – это зло. Чего только там не попадает, в этих уличных формах непризнанной жизни. Летят по воздуху осколки бутылок – вонзаются в бледное мальчишеское лицо, ошпаривает глаза самая мелкая стеклянная пыль: как мало, по сути, надо, чтобы кого-нибудь ослепить. Глеб ойкает, опрокидывается на землю. Острая крышка консервной банки, приобретя ускорение от толчка из-под земли, чиркает по глотке Сереги – говорила же мама, не играйся с острым и ржавым. Ударяет прямо в висок – и это очень сильный удар, а височная кость самая тонкая, – черенок лопаты, еще крепкий, недавно сюда подсунутый, Алешеньку. И только Спартак, ниже всех склонившийся над телом Палыча, всего этого как-то избегает. Он мало что успевает понять – видит лишь краем глаза, как валяются с ног сперва Глеб, затем Серега, замечает, как роняет телефон Алешенька, – и уже через несколько секунд остается в полной темноте, потому что единственный фонарь, чей свет еще худо-бедно достает до

заброшенной детской площадки, гаснет от перенапряга, от резкого выброса энергии, которую слабенькие перемишки внутри него понять не в силах. Но темнота недолго остается беспросветной, потому что злым, коварным огнем загораются вдруг глаза языческих божков, обструганных и неухоженных, натканных кругом. И тогда Спартак, подхлестнутый животным ужасом, бежит прочь, совершенно забывая про своих друзей. За шиворот ему забились осколки кошачьих костей, выметенных из-под земли выбросом. Много их там, оказывается, лежало.

Одиноко завывает сигнализация на какой-то машине, смолкает. Тетя Валя, бдительная пожилая женщина, выглядывает из окна. Заброшенная площадка погружена во тьму, ничего не видать – глаза божков уже погасли. Опять, видать, хулиганы балуются – хлопушки свои взрывают. Качая головой, тетя Валя задергивает штору – и тогда, по вот этому тайному сигналу, Абдусциус снисходит в мир и начинает собирать себя по кускам. Голова у него уже есть, в принципе. Есть и какое-то подобие инструментов – все эти палки, оплетенные вьюном, лобзик и некоторое количество заостренных консервных крышек. Без всего этого, впрочем, Абдусциус и так может обойтись, ведь он – демон, коему под силу корчевать деревья. Но все же как приятно будет почувствовать себя в теле. Если ты в теле, ты в деле, мог бы сказать этот демон. Собирая пролитую кровь ртами-патрубками, он крепнет. Когда он достаточно крепнет, он ставит на ноги Глеба и вручает ему лобзик. Лобзиком Глеб сперва отпиливает ноги еще живому Алешеньке, а потом себе – руку, которая держала этот лобзик. Он действует методично, уверенно, вкладывая в работу немалую силу – ничего иного не требуется от безмозглого послушного автомата. Сереге придется отпилить другую руку, а потом запихнуть ржавую консервную крышку в рот и достать язык, чтобы еще немного подкрепить Абдусциуса. Острая стекляшка, оставшаяся от пивной бутылки, ныряет под веко, с влажным причмокиванием проворачивается, тащит наружу мякоть нерва. Глаз тоже пригодится, просто так, для престижа. Вьюнки запихивают его в пустую глазницу, и там он застревает – мертвый, ни на что не пригодный.

С тела Палыча Абдусциус берет только одежду. Больше ведь и взять-то нечего – все, что имелось по жизни, за эту же жизнь и вытряслось, выбухтелось. По запаху демон находит ближайший канализационный люк – оттуда, из нечистот, сладко постанывают позорные и презренные нимфы стоков, – и кое-как подцепляет крышку. Ну, вы уже можете догадаться и так – туда вскоре отправятся тела. Их, конечно, найдут, и поднимется страшная шумиха. Каких только версий не выкажут – ужасно правдоподобных и ужасно далеких от истины. Впрочем, так и появляется устный фольклор – когда люди много судачат.

Малолетняя убийца так и не дождалась автобуса, поэтому решила идти пешком. Просто идти, не разбирая дороги.

Она все такая же бесполоя и неприкаянная, не знает, как поступить дальше и чем себя занять, и уже всерьез подумывает о том, что зря она в этот вечер так разозлилась на отца. Может, и не стоило ничего этого делать. Ну, что есть – то есть. Она делает пару кругов по району на мерзнущих ногах, останавливается на маленьком мосту. Мелкая речка несет свои нечистые воды под ее ногами. Нечистая речка – и пахнет, соответственно, какой-то гнилью, нечистью. Убийца вздыхает. Все в этом мире несовершенно.

Ноги сами несут ее обратно, виноватые, неуправляемые ходилки, но она понимает, что обратно – нельзя. Можно, конечно, у подружки переждать, если пустит. Когда-то все равно придется идти назад. Кто отца хватится? Ну разве что тот его друг с сырцом. Может, сказать, что это он его – того?.. Могут ведь и поверить, друг у отца был тот еще псих с закидонами. Главное – пакеты эти куда-нибудь деть. Хоть бы и в эту речку...

Грязно-желтый снаружи, черно-красный внутри, полиэтилен скользит по грязным водам. Под самым мостом – уцепляется за какую-то корягу, там и остается висеть. Сначала сердце убийцы тревожно екает, но в следующую же секунду – остывает, то есть, приходит в норму. Да и пусть себе. Так даже лучше. Все вымоет эта вонючая река. Следов никаких не оставит.

Убийца бредет прочь. Знакомые дороги, постылые пейзажи. Переходы за переходами, все – тянущиеся в неизвестность. Она вытряхивает из рукава застиранной куртки наушники. Когда все вокруг – такое, лучше послушать музыку, отвлечься. Песни на ее телефоне все сплошь задорные, веселые, ни одного минорного мотива.

Убийца идет по улицам, безлюдным к ночи, и не слышит, как Абдусциус ступает следом. Демону хорошо и легко в новом теле. Оно, конечно, несуразное и может в любой момент дать слабину, распасться так же случайно, как собралось, но Абдусциус – существо тоже довольно легкомысленное. Он пробует вырвать тоненькое молодое деревце, которое попало ему на пути – да какое это деревце, так, палка, ниже малолетней убийцы, чья-то оставшаяся без ухода рассада, – и по-детски радуется, когда у него это выходит. В следующий раз он вырвет дерево побольше. Но сперва он хочет догнать убийцу и поблагодарить ее.

Вот она идет между плохо освещенных приземистых пятиэтажек – с одной стороны дорога, с другой полоса ободранных кустов, вполне привычная для любого из множества постсоветских городов картина. Что-то настораживает ее – неправильно лежащаяся тень, какое-то странное движение воздуха за спиной, странный запах, который так ей знаком с недавних пор, но абсолютно неназываем: сознание не хочет давать *таких* названий. Она оборачивается – и поначалу выдыхает: просто какой-то бездомный плетется на небольшом отдалении. Нет, конечно, шаг лучше ускорить, но у нее ведь при себе перцовка имеется, если что – мало не покажется дурачку. Фигура очень странно переваливается из стороны в сторону, будто все тело разбито какой-то болезнью, голова странно скошена набок.

И вот в этой-то голове – вся проблема, потому что это голова ее отца.

Холодная судорога пробегает через все ее тело.

На провисшей лямке рюкзак соскальзывает с ее руки. Она подхватывает его чисто инстинктивно, шарит внутри в поисках баллончика. Да никакой это не отец, совсем другая фигура. Не может это быть отец, перво-наперво. По ряду очень простых и понятных причин – не он.

Но эта голова слишком хорошо ей знакома, потому что еще недавно она держала ее в руках, таращилась в пустую глазницу и подумывала, что же поделаться с таким интересным предметом? Может, просто вынести в подъезд, к мусоропроводу, и запустить вниз по этой долгой стальной кишке, послушать, как плешивое темя смачно бьется о стенки и, наконец, приземляется где-то внизу, утыкается носом в чей-нибудь сор, в использованную туалетную бумагу или, скажем, в гнилой арбуз, в какую-нибудь человеческую погань, отброшенную и неприкаянную, как и сама отпиленная голова. Глазница, кстати, больше не пустая – глубоко в нее запал глаз, потихоньку уже на стылом ветре остекленевший, идеально-голубой, совершенно не отцовский.

Абдусциус подходит почти вплотную и кладет ей руку на плечо. Руку, которая, того и гляди, открепится – уж больно крепко в земле сидело то второе, покрупнее, деревце. - Пап? – спрашивает убийца писклявым голосом, и ее качает вперед. Бесплезная перцовка издает *звяк-звяк*, катясь по щербатому асфальту.

Абдусциус неловко подхватывает ее за волосы, отрывает от земли. Он благодарит ее единственным способом, доступным демону его ранга – сворачивает голову, практически отрывает ее от шеи, подставляет под струю крови патрубки пустотелого вьюна, скомканные во рту его чужеродной головы и протянутые через пальцы взятых от разных тел рук, будто струны. Но кровь слишком уж горчит, приливает к нутру – и отторгается, как оно, собственно, и было при жизни убийцы и жертвы. Абдусциус разочарованно закидывает тело в кусты. Он не очень-то огорчен, впрочем. Есть, в конце концов, и другая кровь. Крови очень много в этом мире, и всякая она – чудо, магия, таинство.

- Не, ты видел? – спрашивает молодой росгвардеец у того, что постарше. Ему не очень нравится этот глухой, беспросветный район, и он все время – немного на взводе, все время настороже.

- Что? – спрашивает его товарищ, понурый и раздраженный тем, что так и не хлебнул перед дежурством кофе.

- Да мужик какой-то подозрительный. Идет – и влево головой косит. Еще и в руках палка какая-то с ветками... будто кустик из земли вынул и с ним идет.

- Ну косит и косит, кустик и кустик, тебе-то что?

- А вдруг бухой? Отвезем его в вытрезвяк, сдадим – пусть обсохнет там немного.

- Ну если только так, для галочки... – вяло бросает товарищ по дежурству.

Две одинокие фигурки устремляются в темноту за третьей. А третья все идет и идет, и наслаждается, наверное, каждым неуклюжим шагом; поет скорбную песнь роза ветров, стальные потоки гуляют вверх и вниз по темнеющим улицам, звезды в небе перемигиваются о чем-то им одном известном – как, собственно, и должно быть всегда.